

*Лурдес и Хосе Исраэлю Куэльо,
а также многим и многим
моим друзьям-доминиканцам*

*Тридцатого мая,
Бросив дела,
Весело празднуем
Праздник Козла.*

Доминиканская меренга
«Марафон козла».

I

Урания. Ну что за именем наградили ее родители? При этом имени в сознании возникала планета, минерал, все что угодно, но только не стройная женщина с тонкими чертами лица, гладкой кожей и огромными темными, немного печальными глазами, которые смотрели на нее из зеркала. Урания! Ну и ну. К счастью, никто ее так не звал, а звали Ури, Мисс Кабраль или доктор Кабраль. Насколько помнится, с тех пор, как она уехала из Санто-Доминго (а точнее, из Сьюдад-Трухильо: когда она уезжала, столице еще не вернули ее настоящего имени), ни в Адриане, ни в Бостоне, ни в Вашингтоне, ни в Нью-Йорке никто не называл ее больше Урания, как звали когда-то дома и в колледже святого Доминго, где сестры, монахини доминиканского ордена, и ее соученицы старательно выговаривали дурацкое имя, которым ее с самого рождения обрекли на муки. Кого же это угораздило — его или ее? Теперь уже поздно докапываться, дорогая: мать — на небесах, а отец — покойник при жизни. Так что не узнаешь. Урания! Так же глупо, как переименовать древний Санто-Доминго де-Гусман в Сьюдад-Трухильо. Может, и эту идею родил твой отец?

Она ждет, пока море покажется в окне ее комнаты на девятом этаже отеля «Харагуа», и наконец вот оно. Еще несколько секунд, и темень отступает, и сияющий синий горизонт стремительно распаивается, открывая зрелище, которого она ждет с того момента, как проснулась в четыре часа утра, несмотря на таблетку, выпитую на ночь вопреки всем предубеждениям против снотворных. Ярко-синия поверх-

ность моря, взъерошенная пятнами пены, вливается в свинцовое небо у линии горизонта, а тут, у берега, звонко бьется пенистыми волнами о набережную Малекон, мостовая просвечивает сквозь кайму пальм и миндалевых деревьев. Тогда отель «Харагуа» выходил фасадом на Малекон. А теперь — торцом. В памяти всплывает воспоминание — это было в тот день? — отец ведет девочку за руку, они входят в ресторан отеля, пообедать вдвоем. Им дают столик у окна, и из-за занавесок Уранита видит просторный сад, бассейн с трамплинами для прыжков и купающихся. В Испанском дворике, облицованном узорчатой плиткой и уставленном горшками с гвоздиками, оркестр играл меренги. В тот день это было?

— Нет, — говорит она вслух.

Тогдашний «Харагуа» разрушили, а на его месте воздвигли это огромное здание цвета розовой пантеры, которое так поразило ее три дня назад, когда она прибыла в Санто-Доминго.

Правильно ли она поступила, что вернулась? Ты еще пожалеешь, Урания. Растратить целую неделю отпуска, при том что у тебя никогда не находится времени, чтобы увидеть города и страны, которые тебе хочется увидеть, и вместо того, чтобы, к примеру, смотреть на горы и покрытые снегом озера Аляски, ты оказываешься на крошечном островке, куда, ты поклялась, никогда больше не ступит твоя нога. Неужели ты сдаешь? Проявляешь осеннюю сентиментальность? Нет, простое любопытство. Чтобы доказать себе, что можешь ходить по улицам этого города и он уже не твой город, и страна тебе уже чужая, и они больше не вызывают в тебе ни грусти, ни ностальгии, ни ненависти, ни горечи, ни ярости. А может, ты приехала, чтобы взглянуть на развалину, в которую превратился твой отец? Узнать, что ты испытываешь, увидев его через столько лет? Озноб пробегает у нее по телу. Урания, Урания! Смотри-ка, столько лет прошло, а у тебя, такой непокорной, такой организованной, совершенно не поддающейся унынию, у тебя за этой неприступной броней, которой все восхищаются и завидуют, оказывается, такое нежное сердечко, такое боязливое, уязвимое

и чувствительное. И она хохочет. Хватит глупостей, милочка.

Она надела легкие туфли, брюки, спортивную блузку, подобрала волосы сеткой. Выпила стакан холодной воды и уже собралась было включить телевизор, чтобы послушать новости по CNN, но одумалась. Подойдя к окну, она смотрит на море, на Малекон, а потом — в другую сторону — на теснящиеся крыши, башни, купола, колокольни и купы деревьев. Город. Как он разросся! Когда ты его оставила, в 1961 году, в нем проживали триста тысяч душ. А теперь — больше миллиона. Он раскинулся кварталами, проспектами, парками и отелями. Вчера она почувствовала себя чужой, когда колесила во взятом напрокат автомобиле по элегантным кварталам Белья-Виста и огромному парку Мирадор, где на пробежку вышло ничуть не меньше народу, чем в нью-йоркском Центральном парке. В детстве город заканчивался на отеле «Эмбахадор»; за ним шли поместья, засеянные поля. Вокруг Кантри-клуба, куда отец водил ее по воскресеньям в бассейн, расстилалось чистое поле, и не было ни асфальта, ни домов.

Но старый город, построенный в колониальном стиле, не обновился, как не помолодели и квартал Гаскуэ, и тот, где жила она. Она была уверена, что ее дом тоже едва ли изменился. Наверняка такой же, как и был, в маленьком садике, где росли старое дерево манго и весь в пурпурных цветах высоченный фламбойан, прислонившийся к террасе; там, на воздухе, они обычно завтракали по субботам и воскресеньям; домик под двухскатной крышей, с балкончиком, куда выходила ее спальня и на котором она поджидала своих двоюродных сестер — Лусинду и Манолиту, — а в том, 1961 году, выглядывала мальчика, проезжавшего мимо на велосипеде, тайком следила за ним, не осмеливаясь заговорить. А внутри он, город, — такой же, как и был? Австрийские часы с боем и с готическими цифрами и сценой охоты на циферблате. И отец — такой же, как и был? Нет. Она замечала, как он дряхлел, по фотографиям, которые с перерывами в несколько месяцев или лет присылали ей тетя Адели-

на и другие дальние родственники, продолжавшие писать, несмотря на то, что она не отвечала на их письма.

Она опускается в кресло. Раннее утреннее солнце высвечивает центр города; купол Национального дворца и его бледно-охряные стены чуть посверкивают под голубым сводом небес. Ну, выйди же наконец, скоро жара станет нестерпимой. Она закрывает глаза: совершенно несвойственная ей инертность сковывает ее; а ведь она привыкла быть постоянно в действии и не терять времени на то, что — с момента, как она вновь ступила на доминиканскую землю, — занимает у нее теперь день и ночь: на воспоминания. «Девочка у меня такая трудолюбивая, она и во сне твердит уроки». Так говорил о тебе сенатор Агустин Кабраль, министр Кабраль, Мозговитый Кабраль, так он хвастался перед друзьями дочкой, которая забирает все премии, а sisters ставили эту ученицу всем в пример. Может, так же он хвастался школьными свершениями Урании и перед Хозяином? «Как бы мне хотелось представить ее вам, она берет первые премии все годы, что учится в колледже святого Доминго. Для нее было бы счастьем познакомиться с вами, подать вам руку. Урания молится каждую ночь, чтобы Господь сохранил ваше железное здоровье. И еще молится за донью Хулию и донью Марию. Окажите нам эту честь. Вас просит об этом, умоляет вас, молит вернейший из ваших верных псов. Вы не можете отказать мне в этом: примите ее. Ваше Превосходительство! Хозяин!»

Ты проклинаешь его? Ненавидишь? Все еще?

— Уже — нет, — говорит она вслух.

Она бы не вернулась сюда, если бы ярость еще терзала ее, если бы рана еще кровоточила, а разочарование разрушало бы и отравляло, как в молодости, когда учение и работа были единственным, неотвязно маниакальным средством от воспоминаний. Тогда она и в самом деле его ненавидела. Каждым атомом своего существа, каждой своей мыслью и чувством. Она желала ему всех бед, болезней и несчастий. Бог пошел навстречу твоим пожеланиям, Урания. Нет, скорее дьявол. Разве мало того, что insult превратил его в живой

труп? Разве не сладка эта месть — десять лет он в инвалидном кресле, не может ни ходить, ни говорить, полностью зависит от сиделки, которая его кормит с ложечки, укладывает спать, одевает и раздевает, подстригает ему ногти, бреет, помогает помочиться и испражниться? Чувствуешь ты себя отмщенной? «Нет».

Она выпивает еще стакан воды и выходит. Семь утра. Внизу, на первом этаже, на нее наваливается шум, привычный гостиничный гул — голоса, рокот моторов, радио, пущенное на полную катушку, меренги, сальсы, дансоны и болеро, рок и рэп, — все сливается в сплошной гвалт и гомон. Шумный человеческий хаос, рожденный глубинной потребностью оглушить себя, чтобы не думать, а может быть, даже и не чувствовать, вот что такое твой народ, Урания. И еще — взрыв диких жизненных проявлений, чуждый веяниям времени, не знающий перемен. Есть в доминиканцах нечто, что заставляет их цепляться за подсознательное, магическое, — эта тяга к шуму. («К шуму, а не к музыке».)

Она не помнит, чтобы, когда она была девочкой, а Санто-Доминго назывался Сьюдад-Трухильо, улицы бурлили так шумно. Нет, такого не было; вероятно, тридцать пять лет назад, когда город был в три или в четыре раза меньше, когда он был более провинциален, изолирован от мира и жил в полудреме под гнетом страха и угодничества, когда душа у него сжималась от почтения и панического ужаса перед Хозяином, Генералиссимусом, Благодетелем, Отцом Новой Родины, Его Превосходительством доктором Рафаэлем Леонидасом Трухильо Молиной, и жизнь в нем шла тише, без этого неистовства. А сегодня все звуки, какие только есть в жизни, все автомобильные моторы, музыкальные кассеты и диски, радиоприемники, автомобильные гудки, лай, рык, человеческий гомон, запущены на полную мощность, и свои звуковые возможности наравне с механическими и электронными аппаратами демонстрируют и живые существа (и собаки-то теперь лают громче, а птицы трещат веселее). А еще говорят, что Нью-Йорк — шумный город! Никогда за все десять лет жизни в Манхэттене уши ее не слышали ничего, подоб-

ного этой свирепой какофонии, в которую она погружена уже три дня.

Солнце поджигает седые верхушки пальм; тротуар весь в оспинах мусора, в кучах помойки, женщины в белых платках на голове подметают мусор и собирают в тесные для него сумки. «Гаитянки». Сейчас они молчат, но вчера перешептывались на своем creole. Чуть дальше два гаитянца, босые и полуголые, сидят на ящиках перед развешенными на стене яркими картинами. В самом деле, город, а может, и страна, набита гаитянцами. Раньше такого не было. Разве эти слова не принадлежат сенатору Агустину Кабрало: «Можете говорить что угодно о Хозяине. Но история признает, что он создал современную страну и поставил на место гаитянцев. От дурной болезни и лекарства горькие!» Хозяин получил дикую и жалкую страну, погрязшую в междоусобных войнах и бедности, где не было ни порядка, ни закона, она теряла свою самобытность, потому что жестокие и голодные соседи наводнили ее. Они переходили вброд реку Масакре, грабили добро, угоняли скот, разоряли дома, отнимали работу у наших селян, извращали нашу католическую религию своим сатанинским колдовством, насиловали наших женщин, портили нашу культуру, наш язык и западные, испанские обычаи, навязывая свои — африканские, варварские. Хозяин разрубил гордиев узел: «Баста! Хватит!» От дурной болезни — и лекарства горькие! Он не просто оправдал массовое истребление гаитянцев, которое случилось в тридцать седьмом году, но возвел его в подвиг своего режима. Разве он не спас Республику от растления, второго за ее историю растления хищным соседом? Какое значение имеют пять, десять, двадцать тысяч гаитянцев, если речь идет о спасении целого народа?

Она шла быстро, узнавая окрестности: бывшее казино Гуибиа стало теперь клубом, от прежней водолечебницы нестерпимо несло сточными водами; скоро она дойдет до угла перекрестка Малекона с проспектом Максимо Гомеса — обычный маршрут вечерних прогулок Хозяина. С тех пор, как врачи сказали ему, что пешие прогулки полезны

для сердца, он стал прогуливаться от резиденции «Радомес» до проспекта Максимо Гомеса, с заходом в дом доньи Хулии, Высокородной Матроны, где однажды была и Уранита, чтобы произнести речь, которую чуть не провалила, а потом шел дальше, до самого проспекта Джорджа Вашингтона, и на этом углу он сворачивал к обелиску, повторяющему вашингтонский обелиск, шел бодрым шагом, со всеми своими министрами, советниками, генералами, адъютантами, придворными; те держались на почтительном расстоянии, а глаза напряженно всматривались, сердце тревожно замирало в ожидании жеста или знака, который позволил бы им приблизиться к Хозяину, выслушать его, удостоиться нескольких слов, пусть даже порицающих. Все что угодно, только не оказаться на отшибе, забытым, в аду попавших в немилость. «Сколько раз шел ты среди них, папа? Сколько раз удостоился ты разговора? А сколько раз возвращался домой убитый, оттого что он не позвал тебя, и ты боялся, что выпал из круга избранных и окажешься в аду забытых и отверженных. Ты всегда жил в страхе, что с тобой повторится история Ансельмо Паулино. И она повторилась, папа».

Она смеется, и идущая навстречу ей парочка в бермудах думает, что она улыбается им: «Доброе утро». Но она не улыбается им, она смеется, вспоминая сенатора Агустина Кабрала, как он пёхал каждый вечер по этой набережной в свите высокопоставленной прислуги, и внимание его было обращено не на шум моря, не на теплый бриз, не на виражи чаек и не на сияющие карибские звезды, а на руки, глаза и движения Хозяина — а вдруг позовут, окажут предпочтение перед остальными. Она дошла до Земледельческого банка. Потом будет резиденция «Рамфис», где по-прежнему располагается Министерство иностранных дел, а дальше — отель «Испаньола». И — поворот на девяносто градусов.

«Улица Сесара Николаса Пенсона, угол улицы Гальван», — думает она. Пойти или возвратиться в Нью-Йорк, так и не повидав своего дома? Войдешь и спросишь у сиделки, как больной, а потом поднимешься в спальню и выйдешь на террасу, куда его вывозят для послеобеденного сна,

на эту террасу, всю красную от цветов фламбойана. «Здравствуй, папа. Как ты себя чувствуешь, папа? Ты меня не узнаешь? Я — Урания. Ну конечно, как же тебе меня узнать. Когда ты меня видел последний раз, мне было четырнадцать лет, а сейчас — сорок девять. Вполне зрелая женщина. А тебе — скоро восемьдесят четыре. Как ты постарел, папа». Если он способен мыслить, то за эти годы у него было достаточно времени, чтобы подвести итоги своей долгой жизни. Наверное, ты думал и о неблагодарной дочери, которая за тридцать пять лет не ответила тебе ни одним письмом, не прислала ни одной фотографии, ни разу не поздравила с днем рождения, Рождеством или Новым годом, и даже когда у тебя случился инсульт и тетки, дядья и двоюродные сестры и братья думали, что ты умираешь, она не приехала и не поинтересовалась, как твое здоровье. Какая скверная дочь, папа.

В доме на улице Сесара Николаса Пенсона, угол Гальвана, уже не будут принимать гостей в доме, где в прихожей входящего встречало изображение Пресвятой Девы Альтаграсии, а на двери красовалась бронзовая табличка: «В этом доме Трухильо — Хозяин». Ты оставил ее в доказательство своей верности? Или же выбросил в море, как это сделали тысячи доминиканцев, купившие когда-то такую табличку и прибавившие ее в доме на самом видном месте, чтобы никто не усомнился в их преданности Хозяину, а когда наважде-ние рассеялось, захотели стереть даже следы бывшего, устыдившись того, о чем оно свидетельствовало: об их трусости. А значит, и ты тоже убрал ее подальше, с глаз долой, папа.

Вот и дошла до «Испаньолы». Она потеет, сердце колотится. Мимо, по проспекту Джорджа Вашингтона, течет двойной поток легковых автомобилей, грузовиков и грузовичков, и, похоже, в каждой машине орет радио, так что барабанные перепонки того и гляди лопнут. Иногда из какой-нибудь машины высовывается мужская голова, и тогда она чувствует, как мужской взгляд ошупывает ее грудь, ноги, зад. Ох эти взгляды. Она ждет просвета между машинами, чтобы перейти на другую сторону улицы, и еще раз напоминает себе, как вчера, как позавчера, что она — на домини-

никанской земле. В Нью-Йорке уже никто не разглядывает женщин так беззастенчиво. Как будто измеряют, взвешивают, подсчитывают, сколько плоти в каждой груди, в каждой ягодице. Она закрывает глаза, стараясь подавить легкую дурноту. В Нью-Йорке даже латиносы, доминиканцы, колумбийцы, гватемальцы уже не смотрят так. Они научились сдерживать себя, они понимают, что не следует смотреть на женщин так, как кобель смотрит на суку, жеребец на кобылу, боров на свинью.

Она замечает просвет между машинами и переходит улицу. Но вместо того чтобы повернуть назад, к отелю «Харагуа», ноги сами несут ее мимо «Испаньолы», дальше, по проспекту Независимости, обсаженному двумя рядами лавровых деревьев с раскидистыми кронами, сплетающимися вверх, над мостовой, в сплошной шатер, по проспекту, который, если ей не изменяет память там раздваивается и уходит в сердце колониального города. Сколько раз проходила ты за руку с отцом под шумливой тенью лавров по проспекту Независимости. От улицы Сезара Николаса Пенсона вы доходили до этого проспекта и шли к парку Независимости. В итальянском кафе-мороженом, что справа, в самом начале улицы Конде, вы ели мороженое с кокосом, манго или гуайавой. Как ты гордилась, что идешь за руку с этим человеком, сенатором Агустином Кабралем, министром Кабралем. Его все знали. К нему подходили, пожимали ему руку, приветственно снимали шляпу, почтительно здоровались, а полицейские и военные щелкали каблуками, когда он проходил мимо. Как, должно быть, тоскуешь ты по тем годам, когда ты был в почете, папа, теперь, превратившись в простого смертного, каких тьма-тьмушая. Тебя всего лишь оскорбили в газете, в разделе «Форо Публике», но не бросили в тюрьму, как Ансельмо Паулино. Ведь больше всего на свете ты боялся этого, правда? Что в один прекрасный день Хозяин прикажет: «Мозговитого — за решетку!» Тебе повезло, папа.

Она идет уже сорок пять минут и довольно далеко отошла от отеля. Захвати она с собой деньги, можно было бы зайти в какое-нибудь кафе отдохнуть, выпить кофе. Все вре-

мя приходится отирать пот с лица. Это годы, Урания. Сорок девять — уже не молодость. Хотя выглядишь ты для своего возраста лучше многих. Рано тебя еще выбрасывать, как изношенное старье, если верить этим взглядам, которыми тебя окатывают всех сторон, которые ты чувствуешь на своем лице, на теле, оскорбительные, алчные, разнузданные, наглые взгляды самцов, привыкших глазами мысленно раздевать каждую встретившуюся женщину. «Сорок девять великолепно прожитых лет, Ури», — сказал Дик Литней, ее друг и коллега по адвокатской конторе в Нью-Йорке в день ее рождения, и на такую дерзость не отважился бы ни один мужчина из их конторы, если бы не пропустил перед тем, как Дик в тот вечер, две-три порции виски. Бедный Дик. Как он покраснел и смутился, когда Урания обдала его тем ледяным взглядом, каким уже тридцать пять лет она встречала любые комплименты, игривые шуточки, любезности, намеки или дерзости мужчин, а иногда и женщин.

Она останавливается перевести дух. Сердце колотится, того гляди выскочит из груди. На углу проспекта Независимости и Максимо Гомеса она стоит в толпе у перехода и ждет, когда можно будет перейти улицу. Ее нос различает такое же разнообразие запахов, как и уши — звуков: чад перегоревшего масла и выхлопные газы от машин рассеиваются или дымными языками оседают на пешеходов; масляный жар идет от лотка, где на двух сковородах трещит и жарится еда, и все это пропитано густым, не поддающимся определению тропическим запахом разлагающейся смолы и гниющей буйной растительности, потеющих тел, тяжелым настоем животных, растительных и человеческих запахов, которым солнце, прижимая их к земле, не дает развеяться и испариться. Этот жаркий дух касается потаенных уголков памяти и возвращает ее к детству, к пестрому ковру из тринитарий на балконах и в горшках под потолком, к этому проспекту Максимо Гомеса. День Матери! Ну конечно. Слепящее майское солнце, ливни, жара. Девочки из колледжа святого Доминго, отобранные для подношения цветов Маме Хулии, Высокородной Матроне, родительнице Благодетеля,

зерцалу и символу доминиканской матери. Они приехали на школьном автобусе в своих безупречно-белых форменных платьицах в сопровождении настоятельницы и sister Мэри. Они сгорают от любопытства, гордости, любви и почтения. От имени и по поручению колледжа тыходишь в дом Мама Хулии. Ты должна продекламировать стихотворение «Мать и наставница, Высокородная Матрона», которое ты написала, выучила и продекламировала десятки раз перед зеркалом и перед одноклассницами, перед Лусиндой и Манолитой, перед папой, перед sisters и бесчисленно повторяла молча, про себя, чтобы не сбиться и не забыть ни словечка. И когда наступил славный миг в огромном розовом доме Мама Хулии, у тебя, ошеломленной огромным множеством военных, дам, адъютантов, делегаций, заполонивших сады, покои и коридоры, у тебя — от волнения и любви, едва ты выступила на шаг вперед и оказалась всего в метре от старой женщины, которая благосклонно улыбалась тебе из кресла-качалки, держа в руках букет роз, только что преподнесенных ей настоятельницей, — у тебя перехватило горло и в голове стало совсем пусто. Ты расплакалась. Ты слышала, как кто-то из окружавших Маму Хулию важных гостей засмеялся, кто-то подбадривал тебя. Высокородная Матрона, сияя улыбкой, велела тебе подойти поближе. И тогда Уранита собралась, вытерла слезы, выпрямилась и твердо, без запинки, хотя и без особого выражения, продекламировала «Мать и наставница, Высокородная Матрона» единым духом. Ей аплодировали. Мама Хулия погладила Ураниту по головке и сморщенным ртом, в тысяче мелких морщинок, поцеловала ее.

Наконец светофор переключается. Урания идет дальше под развесистыми кронами Максима Гомеса. Она идет уже час. Как приятно идти в тени лавровых деревьев, снова видеть эти соцветия из мелких красных цветочков с золотистыми пестиками, Кровь Христову, идти и думать о своем в беспорядочном гуле голосов и музыки, однако поглядывая под ноги, не то, не ровен час, споткнешься о выбоину, трещину, неровность тротуара или вляпаешься в то, что с таким удо-

вольствием обнюхивают бродячие собаки. Так что же, значит, ты была счастлива? Когда в день Матери шла со своими одноклассницами подносить цветы и декламировать стихи Высокородной Матроне, была. Хотя, наверное, после того, как светлая красавица и защитница ее детства в доме на улице Сесара Николаса Пенсона угасла, само понятие счастья исчезло из жизни Урании. Но твой отец и твои дядя и тетка — прежде всего тетя Аделина с дядей Анибалом и двоюродные сестры Лусиндита и Манолита, — как и старые друзья вашей семьи, изо всех сил старались заботой и лаской заполнить пустоту, образовавшуюся после смерти матери, чтобы ты не чувствовала себя одинокой, обделенной. Отец был для тебя в те годы и отцом и матерью. Поэтому ты его так любила. И поэтому тебе было так больно, Урания.

Она доходит до служебного входа отеля «Харагуа» — до решетчатых ворот, через которые въезжают автомобили, входит прислуга, повара, горничные, уборщики, — и проходит мимо. Куда ты идешь? Но она еще не решила. В ее голове, занятой воспоминаниями о детстве, школьных годах, о воскресеньях, когда они с тетей Аделиной и двоюродными сестрами ходили на детские сеансы в кинотеатр «Элита», в ее голове даже не мелькнула мысль войти в отель, чтобы принять душ и позавтракать. Ноги сами понесли ее дальше. И она идет, не сомневаясь, идет известным путем в потоке пешеходов и машин, нетерпеливо останавливающихся у светофоров. Ты уверена, что хочешь идти туда, куда идешь, Урания? Теперь-то наверняка ты придешь туда, хотя, может, потом и пожалеешь.

Она сворачивает налево, на улицу Сервантеса, доходит до улицы Боливара, точно во сне узнавая одноэтажные и двухэтажные домики с оградами и садами, открытые террасы, гаражи; они будят в ней знакомые чувства и образы, хранившиеся где-то в памяти; но все чуть подпорчено, слегка выцвело, облупилось и обезображено переделками, каморками на плоских крышах, боковыми пристройками, какими-то сооружениями в садах, чтобы разместить потомство, которое вырастает, женится, а собственного дома не имеет, вот

и прибывает семейству, вот и требуется больше жилого пространства. Она идет дальше: прачечные, аптеки, цветочные лавки, кофейни, на дверях — таблички дантистов, врачей, адвокатов, каких-то контор. По улице Боливара она уже идет так, словно кого-то догоняет, вот-вот пустится бегом. Сердце готово выскочить из груди. Как бы не потерять сознание. На углу Роса Дуарте она сворачивает налево и бежит, но это выше ее сил, и она снова переходит на шаг и идет тише, поближе к белой стене дома, на случай если снова закружится голова и надо будет к чему-то прислониться. Кроме нелепого узенького четырехэтажного дома, поднявшегося на месте домика со шпильями, где жил доктор Эстанислас, удалявший ей гланды, ничего не переменялось; ей показалось даже, что служанки, убиравшиеся в садах и начищавшие фасады домов, как ни в чем не бывало сейчас здороваются с ней: «Привет, Уранита. Как дела, девочка? Как ты выросла, детка! Куда ты так спешишь, Пресвятая Дева, спаси и помилуй?»

Дом тоже не особенно изменился, хотя стены, прежде, как ей помнится, густого серого цвета, теперь полиняли и покрылись пятнами, облупились. Сад, буйно разросшийся кустарником, засыпан палой листвой, сухим сорняком. Видно, уже не один год его не поливали, не пололи, не подстригали. А это тот самый фламбойан? Наверное, был фламбойаном, когда на нем были листья и цветы; а теперь это голый ствол с ободранными рахитичными ветками.

Она прислоняется к узорчатой железной калитке. Дорожка, выложенная плитами, проросшими на стыках травой, заплесневела, на террасе, у портика, старый стул со сломанной ножкой. Исчезли стулья и диваны с желтой кретоновой обивкой. Нет и фонаря на углу дома, фонаря из граненого стекла, который освещал террасу и на который слетались дневные бабочки и жужжали ночные насекомые. Балкончик ее спальни уже не покрывают алые тринитарии, теперь это просто цементный выступ, весь в ржавых пятнах. В глубине террасы с долгим скрипом отворяется дверь. Женщина в белом форменном платье смотрит на нее с любопытством.